

Встанешь пораньше — подалее шагнёшь. Кто раньше встаёт, тому Бог подаёт. И других таких пословиц о пользе раннего вставания много. А моя эта привычка вставать рано в самом прямом смысле спасала всю мою московскую жизнь.

Москва. Московская интеллигенция оживляется к вечеру и звонит друг другу до самой поздней ночи. А потом кто спит, кто дрыхнет, кто и звонить продолжает.

И я никак не мог войти в такой ритм жизни. Уже часам к десяти-одиннадцати вечера ничего не соображал. То есть соображал, но не настолько, чтоб вести умные обсуждения. Так честно и говорил: “Простите, но я сейчас ничего не соображаю. (Некоторые могли думать, что я выпивши.) Позвоните утром. — А когда утром? — Часов в шесть-семь”. Так вот, сообщаю: никто и никогда мне утром часов в шесть-семь не позвонил. И получается, что московская интеллигенция — это сплошь ночные совы, а я — залетевший в столицу вятский жаворонок.

И в природе (ранняя роса к вёдру, ранняя весна — много воды, ранняя птичка носик чистит, то есть уже покушала, а поздняя глазки продирает, утренники побили ранники, то есть весенние заморозки сгубили всходы ранних овощей, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...) и в жизни (раннего гостя не бойся, он до обеда, рано татарам на Русь идти; на работу рано,

а в кабак самая пора; работать поздно, спать рано, а в кабак самое время; молодому жениться рано, а старому поздно; богатые раньше нашего встали, да всё и расхватали; не то беда, что рано родила, а та беда, что поздно обвенчалась; всем там быть, кому раньше, кому позже; такая рань — и пехи не пели...) всё в защиту рани-ранней.

Когда в детстве я или кто из братьев долго спали, мама шутила: “Проспали всё Царствие небесное”, — а отец выражался проще и доходчивей: “Девки-то уж все ворота обмочили”.

Интересно, что тот, кто просыпался позднее, вставал и продираал глаза гораздо дольше, чем тот, кто вскакивал раньше. То есть, говоря опять же вслед за мамой, не растягивался. Хотя потянуться до хруста в суставах было очень полезно. Маленьких деточек-ползунков будили, поглаживая по спинке и животу: потянуношки-поростунюшки. Незалежливых Бог любит.

Может, в слове радость напоминание о славянском божестве солнца, божестве Ра. В данном случае и его можно вспомнить.

НЕ УХОДИ ОТ МИРА, он сам от тебя уйдёт. Вот такие слова произнеслись во мне вдруг, когда стоял на прощании с хорошим человеком. Может, надежды на уединение могут сбыться и в обычной жизни? Можно же идти в толпе и быть одиноким. Можно же и не бежать с другими за раздачей благ. Конечно, этому помогает радостное чувство возраста. Да, обещают хороший заработок, но надо же и заработать его, то есть угробить часть из оставшейся невеликой жизни. И зачем? Машину не покупать, на Мальдивы не ехать. Старый уже. И к сединам соблазны пристаю, но уже легко с ними бороться, когда вооружён Крестом и молитвой. Душа и здоровье охраняются Причастием. Вот ещё бы так и у родных и близких.

Живёшь, живёшь и однажды чувствуешь, что мира, в обычном смысле окружающей жизни, нет. Звуки и виды его есть, люди из него приходят и телефоны трещат, но это как-то мимо. И люди уходят, и звонки заканчиваются, а ты опять один. И переставляешь ноги, идёшь к окну. Солнце какое сегодня. Или: дождь, снег. Ветер качает ветки. Вчера были они голые, а сегодня уже в новеньких бледных листочках.

А недавно сутки был вне зоны связи. Вне зоны. Это звучит.

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ: “Ежедневно умирай, чтобы жить вечно”.

РАДОСТИ, ПРЕПОДНОСИМЫЕ плотью, иногда могут и радовать душу, но в итоге всё равно тащат её в бездну. Только душевные радости: родные люди, работа, лес да небеса, да полевые цветы, да хорошие книги и, конечно, Божий храм — вот спасение.

Целый день стояла пасмурность, тряслись по грязной дороге, щётки на стёклах возили туда-сюда мутные потоки дождя, еле протащились по чернозёму, около пруда остановились. “Тут он играл в индейцев, — сказал молодой строитель о прежнем хозяине этого места, который умер не в России, но писал только о ней. — Строить будем заново, на речном песке”.

Стали служить молебен на закладку дома на прежнем основании. Молодой батюшка развёл кадило, и так сладко, так отраднo, так древне-вечно запахло ладаном, что ветер усмирился и солнышко вышло.

Что ещё? Господи, слава Тебе!

“ТРЕЛЁБУС”. ТАК говорил отец. Не троллейбус, а трелёбус. Уверен, что он говорил так для внуков, которые хохотали и поправляли его. Но они понимали, что дедушка шутит.

И вот ушёл отец мой, мой дорогой, мой единственный, не дожидая до позора августа 1991 года, а я, как ни еду на троллейбусе, всё улыбнусь: трелёбус. Еду мимо масонского английского клуба, музея Революции, теперь просто музея, и мне смешно: какие же демократы самохвалы, в зримых образах хотели воспеть свои “подвиги”. А что зримого показать? Нечего показать. Так нет же, нашли чего. Притащили от Белого дома (им очень хоте-

лось, чтобы у нас было, как в Америке, и в спикеры, и инвесторы, и ипотеки: демократы — они задолжили капитала), притащили во двор музея троллейбус в доказательство своей победы. Написали “часть баррикады”. Смешно. Карикатура. Но ведь года три-четыре торчал этот троллейбус около бывшего мasonicского клуба. Около ленинского броневичка, якобы с него он и выступал. Ельцин Ленина переплюнул, вскарабкался, вернее, его втащили, на БТР и, хрипя с похмелья, сообщил восторженным дуракам, что демократия облапошила-таки Россию. Захомутила, задушила. Мужиковатая Новгородская и певец своих песен Окуджава в восторге. Жулики ожили, журналисты заплесали.

Победили демократы не коммунистов, они и без них бы пали, временно победили русскость. Пошли собачьи клички: префект, электорат, мэр, мониторинг, омбудсмен, модератор и особенно мерзкое полицейское слово поселение (у Гребнева: “Не народ, а население, не село, а поселение. И уходит население в небеса на поселение”).

А и как было не засыпать нас мусором этой словесной пыли, если многие господа-интеллигенты с восторгом принимали любую кличку названий предметов и должностей, лишь бы не по-русски. Хотя русские слова точнее и внятнее. Это как хохлы: лишь бы не по-москальски.

Так что и у них свои “трелёбусы”.

КОРФУ

Холод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город празднично освещён: скоро европейское Рождество. Дома, деревья, изгороди, парапеты мостовой — всё в весёлых мигающих лентах огоньков. Ветер и зелень. Длинная безконечная улица. С одной стороны — море, с другой — залив. Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает дверцами кабинок. Берег покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют его. Вроде бы и тоскливо. Но запахи моря, но простор воды, но осознание, что иду по освобождённой русскими земле, освежали и взбадривали. От восторга, да и от всегдашнего своего мальчишества, залез в море. Ещё и поскользнулся на гладких камнях. Идти не смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О чём думаю седой головой? Ведь декабрь, двадцатое. Поднимался по мокрым ступеням. Справа и слева — висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень. Даже и фонарики бутенвиллий.

Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них убежал. Стоял, мёрз, слушал. Гид: “Турки отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения... Семьдесят процентов русских имён взято у греков. Но моё имя Панайотис в Россию пока не пришло”.

Новость: нас не кормят. Надо самим соображать. “Ахи да охи, дела наши плохи, — шутит Саша Богатырёв. — Пойдём за едой. Кто в Монрепо, а мы в сельпо. — Рассказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. — Говорят: полный адектанс. Гляжу — фальшак”.

Я на скрипящей раскладушке. Боюсь пошевелиться, чтоб не разбудить соседей. Они всю ночь храпели, я сильно кашлял, надеясь, что их храп заглушает для них мой кашель. Встали затемно. Читали утреннее Правило. Ехали по ночному городу. Справа — тёмное, белеющее вершинками волн море, слева, вверху, — худющая луна и ковш Белой Медведицы. Полярная звезда успокаивает.

Службу вели приехавшие с нами митрополит и архиепископы, а ещё много священников. Поминали и греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи, иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона — справа от алтаря и от входа. Молитву ко причащению при выносе Святых Даров читали вслед за архиепископом Евлогием всей церковью.

Слава Богу, причастился.

Потом молебен с Акафистом. Пошли к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение — отец родной прилёг отдохнуть. И слушает просьбы.

На улице ветер. Опять оторвался от группы. Время есть, сам дойду, без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни — ветер. В лицо, в спину. Особенно сильно у моря. Но если удаётся поймать затишное место — сразу тепло и хорошо.

Конечно, заблудился. Никто не знает, где отель “Елинос”. Это и неудивительно, это не отель, а, в лучшем случае, фабричное общежитие. А говорили: три звёздочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у святого Спиридона, остальное неважно. А ему каково бывало... За ночь я окончательно простыл.

Наконец, мужчина в годах стал объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что очень далеко, и понял, что давно иду не к отелю, а от него. Он показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнце. Отличный получился марш-бросок. Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов. Вскоре заскакивать перестал, так как убедился, что европейские цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил, правда, за евро бутылочку, да и ту скормил голубям.

Кормить нас никто не собирается. Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную обслугу не волнует, что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономят.

Но у Саши кипятыльник и кружка. Согрелся кипятком, в котором растворил дольку шоколада.

Читал Благодарственные молитвы.

Какая пропость между паломниками и туристами! Перед ними все шестерят, а нам сообщают: “У вас же пост”, — то есть можно нас не кормить.

Но мы счастливы! Мы причастились у святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.

Перелёт в Бари с приключениями, то есть с искушениями. Не выпускали. Стали молиться, выпустили. Уже подлетали к Италии, завернули: что-то с документами. Посадили. Отец Александр Шаргунов начал читать Акафист святителю Николаю. Мы дружно присоединились. Очень согласно и духовно-подъёмно пели. В последнее мгновение бежит служитель, машет листочком — разрешение на взлёт. В самолёте читал Правило ко Причащению. Опаздываем. В Бари сразу бегом на автобус и с молитвой, с полицейской сиреной, в храм.

Такая давка, такой напор (Никола Зимний!), что уже не надеялся не только причаститься, но и в храм хотя бы попасть. Два самолёта из Киева, три из Москвы. Стою, молось, вспоминаю Великорецкий Никольский — Никольский же! — Крестный ход. Подходят две женщины: “Мужчина, вы не поможете?” Они привезли в Бари большую икону Святителя Николая, епархиальный архиерей благословил освятить её на мощах. Одного мужчину — мы знакомимся — они уже нашли. Я возликовал! Святителю, отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим!

Конечно, с такой драгоценной ношей прошли мы сквозь толпу очень легко. Полиция помогала. Внесли в храм, спустились по ступеням к часовне с мощами. В ней теснота от множества архиереев. И наш митрополит тут. И отец Александр. Смирненно поставили мы икону у стены, перекрестились и попятнулись. И вдруг меня митрополит остановил и показал место рядом с собой. Слава Тебе, Господи! Ещё и у мощей причастился. Вот как бывает по милости Божией.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 1999-го. Великорецкое. Написал рассказ “Зимние ступени” о Великорецком, а нынче ступеней нет. Спускался к источнику, как суворовский солдат в Альпах. Темно. У источника никого.

Днём Саша Черных натопил баню. Он её ругает, но баня у него — это баня. Ещё, по пояс в снегу, он сбродил за пихтовым веником. В добавление к берёзовому. В сугроб я, может быть, и не осмелился бы нырять, но Саша так поддал, что паром дверь не только вышибло, но и с петель сорвало, а меня вынесло. Очнулся под солнечным туманом в снежной перине.

А в Москве, в Никольском, 31 декабря сосед Сашка топил баню. Тоже мастак. Тоже я раздухарился и вышел на снег. Но не снег — наст. До того шли дожди, а к Новому году подмёрзло, подтянуло. Покорствуя русскому обычаю создавать контрасты, лёг на снег. Но это был наст, будто на наждак лёг. Ещё и на спину перевернулся. Подо мной таяло. Вернулся в баню, окатился. Батюшки, весь я в красных нитях паралина.

Но здесь баня не главное. Богослужение. Долгое, но быстрое. Вчера читали Покаянный канон, Акафист. Последний день поста. Вечер. Сочельник. Нет, звёзд не видно. Но она же есть.

Сейчас я один, ещё днём всех проводил. Топил печь, ходил за водой. Ещё украшал божничку. Читал Правило ко причащению. Имени монаха, который в Лавре, в Предтеченском надвратном храме, назначил мне читать Покаянный канон, не помню.

Четыре места на белом свете, где живёт моя душа и какие всегда кресту, читая вечерние молитвы: Лавра, преподавательская келья, Никольское, Великорецкое, Кильмезь. Конечно, московская квартира. В Вятке (Кирове) тяжело: мать страдает по милости младшей дочери, но ни к кому уходить не хочет. А когда-то и в Вятке работал. В Фалёнках. Да только всегда то наскоком, то урывками. Кабинета у меня не бывало. Разве что редакторский с секретаршей при дверях. Так там не поработаешь. Да и вспоминать неохота. В журнале друг до публикации, а враг до гроба. А так как из десяти рукописей девять отклоняешь, то сколько же я накопил будущих воспоминаний о своём характере?

Тихо. Свечка потрескивает, ровно сгорает. Так тихо, что лягу спать пораньше. И где тот Киров, и где та Москва? Тут даже Юрья, райцентр, так далеко, что кажется, и Юрья-то нет. А только этот дом, тёплая печь, огонёчек у икон. И ожидание завтрашнего, даст Бог, причастия.

ЭНЕРГИЯ — ДАР БОЖИЙ. Народный академик Фатей Яковлевич Шипунов много и, к величайшему сожалению, бесполезно доказывал в Академии наук и, как говорилось, в вышестоящих инстанциях необходимость замены источников энергии на природные. Затопление земель при строительстве гидроэлектростанций никогда не окушится энергией. Это поля и леса, пастбища, рыбная ловля. Что говорить о тепловых станциях — сжигание нефти, угля, дров. И уж тем более расщепление ядра — атомные станции.

— А чем же это всё можно заменить?

— Ветер, — отвечал он. — Наша страна обладает самыми большими запасами ветра. “Ветер, ветер, ты могуч”, ты не только можешь гонять стаи туч, но и приводить в действие ветродвигатели.

Фатей неоспоримо доказывал великую, спасающую, ценность ветроэнергетики.

— Как бы мы ни ругали большевиков, но в смысле хозяйствования они были поумнее коммунистов. Восемнадцатый съезд ВКП(б) принял решение о массовом производстве ветроэлектростанций.

Так прямо и говорил коммунистам. Рассказывал, что в 30-е годы был создан и работал институт ветроэнергетики. И выпускались ветроагрегаты, “ветряки”, начиная со стокиловаттных.

Кстати, тут и моё свидетельство. Наша ремонтно-техническая станция монтировала для села такие ветряки. Бригада — три человека. Собирали ветряк дня за три-четыре. Тянул ветряк и фермы для коров и свиней, и давал свет в деревню. Работали ветряки прекрасно. Да и просто красивы были: ажурные фермы, серебряные лопасти. Ухода требовали мало. Они же не просили ни нефти, ни газа, ни угля, ни дров, сами — из ничего! — давали энергию.

Думаю, что горло ветроэнергии пережала опять же жадность и злоба. Жадность нефтяных и угольных королей (как же так, обойдутся без них!) и злоба к России (как же так — прекратится уничтожение сёл и деревень, да и городов, как же так — не удастся прерывать течение рек плотинами, создавать хранилища с мёртвой водой — как же это позволить России самой заботиться о себе)?

Вывод один: всё время второй половины XX века никто и никогда не думал о народе.

И, тем более, сейчас. Народ просто мешает правительству. Ему нужна только серая скотинка для обслуживания шахт, нефтяных вышек. У этой скотинки желудок, переваривающий любую химию, и егэ-голова. И два глаза для смотрения на диктующий условия жизни телеэкран, и два уха для выслушивания брехни политиков и для лапши.

Ветер бывает не просто могуч, он бывает сокрушителен. Ураганы и смерчи — это же не природные явления, это гнев Божий.

Что ж, давайте дожидаться его справедливого прихода.

Пушкин пишет в “Капитанской дочке”: “Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевлённым”. А так оно и есть — ветер одушевлённый. “Не хотели по-хорошему использовать мои силы, так получите по-плохому за грехи ваши. Сила у меня скопилась, девать некуда”.

ЛУННЫЙ ШЛЯХ, луна на полморья. Заманивает корабль золотым сверканием. Корабль отфыркивается пеной, рождаемой от встречи форштевня с волнами, упрямо шлѐпает своей дорогой. Но вот не выдерживает, сворачивает и идёт по серебряной позолоченной красоте, украшая её пенными кружевами.

Как же так — ни звѐзд, ни самолѐтов, ни чаек, кто же видит сверху такую красоту?

Рассветное солнце растворило луну в голубых небесах, высветило берега слева и острова справа. Да, всё на всё похоже. Вода прозрачна, как байкальская. И берега будто оттуда. А вот скалы — как Североморские. А вечером, на закате оказалось, что придвинулись к Средиземноморью малиновые Саяны. Потом пошли пологие горы, округлые сопки, совсем как Уральские меж Европой и Азией.

Будто всё в мире собралось именно сюда, образуя берега этой купели христианства.

ДВЕ ФРАЗЫ. Поразившие меня, услышанные уже очень давно. Первая: человек начинает умирать с момента своего рождения. И вторая: за первые пять лет своей жизни человек познаёт мир на девяносто восемь процентов, а в остальное время жизни он познаёт оставшиеся два процента.

Гляжу снизу, из темноты, на освещённый солнцем купол церкви и думаю: а что же я познал в этих двух процентах? Мир видимый и невидимый? Его власть надо мной и подобными мне?

Да, маловато двух процентов.

ТАМАНЬ, ТАМАНЬ. А, может быть, и в самом деле не надо больше ездить в Тамань. Может, и права Надя: “Я не хочу в Тамань, я там буду всё время плакать”. Может, и мне пора только плакать.

Тамань — самая освещённая в литературе и самая неосвещённая в жизни станица. Во тьме Таманской я искал дом, где меня ждал Виктор Лихоносов. Меня облаяли все таманские собаки, да вдобавок чуть не укусили, да я ещё и чуть не выломал чей-то близкий к ветхости забор, зацепившись в темноте обо что-то. Стал падать, но почувал, что опёрся на что-то живое, которое шевельнулось и произнесло: “Мабуть, Микола”? Мы оба выпрямились. Я разглядел усатого дядьку, который держался за забор, и спросил его, где такой-то дом на такой-то улице? Казак был прост, как дитя природы: “Пойдѐшь от так и от так, трохи так, и зараз утуточки”. Давши такую директиву, казак рухнул в темноту, повалил забор и исчез. Для семьи — до утра, для меня — навеки.

А я-то, наивный, считал, что знаю Тамань. Я тыкался и от так, и от так, и бормотал строчку из лихоносовской повести: “Теперь Тамань уже не та”. То вспоминал свои студенческие стихи первого года женитьбы: “Табань! Вѐсла суши! Тамань — кругом ни души. “Хочу вас услышать, поэт”! — кричу. Только эхо в ответ. К другим гребу берегам, к родным, дорогим крестам. Ни-

где не откликнитесь вы, к звезде не поднять головы. Не новы к отошедшим любовь, но вновь на ладонях кровь”.

Тамань, Тамань, как ты велика в моей судьбе, как высоко твоё древнее небо! Ничто не сравнимо с тобою. Вот литература! Разве хуже другие берега полуострова, разве не наряднее другие станицы, разве нет в них контрабандистов, да вот только не побывал в них поручик Тенгинского полка.

Ах вы, рабы Божии, Михаил и Виктор, за что ж вы перебежали мне дорогу? Разве не больше у меня прав писать о Тамани? У меня же и жена, и тёща таманские, а вы — птицы залётные. Один написал, другой влюбился в написанное, да и сам написал. Да и так оба написали, что после вас и не сунешься. Классики — это захватчики. Бывал я и в Риме. И что написал? Ничего. Почему? Потому что до меня побывал Гоголь. Да ещё и от того, что теперешний Рим и Гоголь не стал бы описывать.

Спасибо Тамани: она место рождения нашей семьи.

ПЕРВЫЙ МИР И ВТОРОЙ МИР: Первый мир, допотопный, вышел из воды и потоплен водою. Омыт от грехов. Второй мир, послепотопный, накопил и свои грехи. Хотя Господь дал послепотопным людям возможность в Крещении освобождаться от первородного греха. Более того, послал Сына Своего на Крест за грехи мира. И что дальше? А дальше люди использовали данную им свободу воли для движения в ад. За это мир тоже мог бы быть потоплен, но Господь сохраняет его на День Суда. На огонь. Всё в нашем мире сгорит, останется золото и серебро. Увидят люди блеск серебра, подумают: вода, кинутся. А это серебро. И будут издыхать от жажды. Увидят жёлтое, подумают — хлеб, а это золото. Иди, отгрызи от него.

Будут искать смерти, а смерти у Бога нет. Будут просить горы: падите на нас, а смерти не будет.

А на что мы надеемся? На все про все вопросы бытия отвечено.

Кто виноват? Мы сами. И порядочный человек так и думает.

Что делать? Спасать душу. То, что делали те, кто спасли её. Мы же уверены, что погибшие за Христа, за Отечество спасены.

А как думать иначе? Если небо совьётся, как свиток, в трубочку, если железо будет гореть, как бумага, то разве уцелеет в таком пламени дача, дом, офис, рукопись, норковая шуба, айфон, персональный самолёт?

Ведь так и будет. Говорил же Лот содомлянам, предупреждал. Говорил же Ной перед потопом, строя ковчег. Кто послушался? Ну, и получили должное.

АНАСТАСИЯ ШИРИНСКАЯ, хранительница церкви в Тунисе: “Мне было четырнадцать лет, на палубе корабля “Георгий Победоносец” играл оркестр. Ко мне подошёл генерал Врангель: “Разрешите вас пригласить”. И мы протанцевали тур вальса.

У меня была первая любовь в пятнадцать лет. Борис. Он уехал, написал: “Никогда не забуду девочку в синем плаще у синего моря”. Такое красивое единственное письмо. Мне казалось — никто не знает о моей любви. Я пошла во французскую школу в двенадцать лет, училась гораздо их лучше. Обо мне говорили: “Она знает, где Занзибар”. Помнила Бориса. И он не забыл. Прошло пятьдесят лет, он остался вдовцом. Приехал со второй женой. Сообщил мне, что приезжает. Мне говорят: будет разочарование. Нет, я сказала, не будет. И — никакого разочарования, он тот же! Такие же глаза. Даже обращаясь к жене, говорил обо мне: “Настя”.

ОСЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО. Я на телевидении, редактор Дискуссионного клуба. Всегда идём в прямой эфир. Приглашаю Кожинова, чем-то ему нравилось, он приглашает после передачи посидеть с ним — “Тут недалеко!” — в ресторан “Космос” После “посидения” зовёт поехать “в один дом у Курского вокзала”. Там вино-чаепитие. Кожинову все рады. Хозяйка вида цыганистого, весёлая. У неё большущая кошка Маркиза. Очень наглая, всё ей разрешается. Хотя хозяйка кричит: “Цыц, Маркиза, не прыгай на живот, ещё рожать буду!” Вадим Валерьянович весел тоже, берёт гитару.

— Самая режимная песня: “На просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде”. Так? Вставляем одно только слово, поём. — Играет и поёт: — “На просторах родины, родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили, В ОБЩЕМ, радостную песню о великом друге и вожде. Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт. С песнями борясь и, В ОБЩЕМ, побеждая, наш народ за Сталиным идёт...”. Да, друзья мои, был бы Сталин русским, нам бы ... — Не договаривает. Потом, как бы с кем-то доспаривая: — Исаковский — сталинист? Да его стихи к юбилею вождя самые народные. Вдумайтесь: “Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе”. Это же величайший народный глас: и горечь в нём, и упрёк, и упование на судьбу. А евтушенки успевают и прославить, и обгадить. Нет, если бы не Рубцов, упала бы поэзия до ширпотреба. Представьте: Рубцов воспекает Братскую ГЭС, считает шаги к мавзолею, возмущается профилем Ленина на деньгах — как? Ездит по миру, хвастает знакомствами со знаменитостями, а?

Тогда я впервые услышал и имя Рубцова, и песни “Я уеду из этой деревни”, “Меж болотных стволов красовался закат огнеликий”, “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны”, “В горнице моей светло”... Да, та ночь была подарена мне ангелом-хранителем.

А жить Рубцову оставалось два года.

“НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ”. В Сергиевом Посаде у Троицкого собора женщина рассказывает: “Мама умерла и приснилась уже после сорокового дня. Приснилась, да как-то неясно, я ничего не поняла, переживала. Вдруг ночью звонит сотовый телефон. Её голос: “Дочка, у меня всё хорошо”. И всё. “Так откуда она звонила?” — недоумевает другая. “Не знаю. Оттуда, значит. — А что на телефоне обозначилось, какой номер? — Номер не подлежит разглашению”.

ВО СНЕ ГОВОРЮ итальянцам, стоя на площади перед собором святого Петра: “Да какие вы римляне, да вы просто итальяшки-макаронники! Где центурионы, где тяжелая поступь войск Цезаря, где их крик: “Идущие на смерть приветствуют тебя!” А у него жена, у Цезаря, выше подозрений. Где отважные наследники Македонского, попирающие чужие земли кожаными сандалиями?” Мне отвечают: “А ты чего нас комиссаришь? И вы не русичи, да и ты не храбрый росс непобедимый. Где твой Суворов? Хошь, на тебя факты выкатим?”

Во сне я вынужден был с этим согласиться.

БЫВАЛА В ЖИЗНИ усталость. Обычно физическая. После долгой дороги, после работы. Такая усталость даже радостна, особенно, если дело сделано, дорога пройдена, преодолена. Но сейчас усталость страшнее, она не телесная — нервная, головная. Душа устаёт от всего, что вижу в России. Еле иногда таскаю ноги. И знаю, что и это великая от Господа милость — живу.

Иногда искренне кажется, что умереть было бы хорошо. А жена? А дети-внуки? У Шекспира: “Я умер бы, одна печаль: тебя оставить в этом мире жаль”. Апостол Павел пишет, что ему хочется “разрешиться от жизни и быть со Христом”, но ему жаль тех, кто в него поверил и кому без него будет тяжело, как овцам без пастыря. И остался ещё жить. То есть он мог распорядиться сам своей судьбой. В отличие от нас, смертных.

Да и он не мог. Уходил апостол из Рима. От казни. А Спаситель повернул обратно.

БОЯЛИСЬ ИУДЕЕВ. В Деяниях апостолов (24-27): “Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах”.

И чуть пониже (25-9): “Фест, желая сделать угождение иудеям...”.

ЦЫГАНСКАЯ СТОЛИЦА город Покров знаменит своим цыганским кладбищем. Там же и православное. Ездили на могилу поэта Николая Дми-

триева. (“Если правда, что жизнь — это песня, значит, детство — припев у неё”). Могилка скромна, ухожена, цветы.

А по соседству цыганские... Как назвать эти захоронения, над которыми высятся памятники — скульптуры захороненных. Ни у Мао Цзедуна, ни у Ким Ир Сена нет подобных. Высятся выше деревьев. В три роста, с невероятным подобием головы и фигуры. Будто гигантские слепки. И надписи соответственно: “Барону Мишке безутешная семья”. Или: “Барону Яшке от семьи”, “Барону Гришке от родственников”.

Сколько же надо денег нацганить на каждый такой памятник? Одна цыганка на улице, когда я попрекнул её, что не перестаёт просить, ведь подал уже, совесть надо иметь, зарыдала вдруг: “Муж бьёт меня, если принесу мало денег”.

— А что вам, мало денег от продажи наркотиков?

— Ой-вэй, это мужчины-мужчины! Дай, золотой, дай ещё бумажку, пожалей, пожалей. Давай за дом отойдём, я тебе следы от плётки покажу. Идём! Давай, давай!

И так страстно и зовуще глядела, будто в чертоги звала.

— Я ДАЖЕ ночью очки не снимаю, чтобы лучше сны видеть.

СИЛЬНО ПЕРЕУЧИВШИЙСЯ вятский студент-лингвист писал диплом о народной поэзии (Обряды, заговоры, причитания...). Когда шли примеры, то я всё прекрасно понимал, когда же студент делал какие-то к ним подводки, не понимал ничего. “Ритмизированный русский язык цикличной обрядовости сезонных трудовых и религиозных праздников в вятском диалектизированном говоре отличается от аналогичных в говорах и языках романо-германской и кельтской культур и несопоставим с конструкцией наших апофегм и морфем...”. Каково?

Еду в автобусе по вятской дороге. Сзади говорят о девушке, которая собирается замуж.

— Да она всё чего-то ещё кочевряжится, будто женихов выше головы, будто в них, как в сору, роется.

— А сколько ей натикало?

— Да уж на пределе.

— А если на пределе, будь добра и за перестарка. Ещё чего-то разбирается.

— Эдак, эдак, некуда тянуть, надо высказывать.

— Как не надо, надо. С мужиком-то наплачешься, а без него навоешья...

И какие тут морфемы, какие фонемы? Или ты, студент, в автобусе не ездил? Или ты и твои друзья “хочут” образованность показать?

НИ В ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ нет того, что в русской. Это от своеобразия русской жизни. У нас всё одушевлено, нет неживой природы, всё живо.

У Гоголя рассуждают два кума, сколько груза может поместиться на возу. И один гениально говорит: “Я думаю (!), достаточное количество”. И всё. И всё понятно.

У Тургенева в “Записках охотника”. Едут, ось треснула, колесо вот-вот слетит, как-то очень странно вихляется. И когда оно (колесо) уже почти совсем отламывается, Ермолай злобно кричит на него (кричит на колесо!), и оно выравнивается!

У Бунина мужик бежит, останавливается, глядит в небо, плачет: “Журавли улетели, барин!”

Кстати, о Тургеневе. Это совершенно жутко, что он пошёл смотреть на казнь. Да ещё и описал. А в “Записках охотника”, лучшим из написанного им, автор очень много подслушивает.

Хотя для переводов русского книжного богатства сделал много.

ИВАН СЕМЁНОВИЧ, бывший политработник, стоит у ворот дома в галошах, поджидает меня. Очень любит поговорить. Всегда о том, как он за-

ботился у солдатых. “Приезжаю в часть, собираю вначале офицеров. “Никто нас, кроме солдата, не спасёт. Если вы ужинаете, сели за стол, а солдаты не накормлены — вы преступники”. Потом иду в любую казарму и вначале всегда в сушилку. Чтоб и обувь, даже и матрасы чтоб были просушены. Солдат любил, как родных сыновей”. — Тут Иван Семёнович всегда крестился.

— А как политзанятия?

— Это-то? Тут тоже всё в норме. Стоим на страже Родины, защищаем народ! Чего ещё? Признаки демократического централизма? Это муть.

Не его защищаем — Родину!

В ТАМБУРЕ ПОЕЗДА. Весёлый подпивший парень, руки в наколках: “Приму сто грамм я водочки — и жизнь помчится лодочкой. И позабуду, где, за что сидел. Дядя, — это мне, — ты сидел? Нет? Зря! Тюрьма — это академия жизни, школа воровства и мошенничества. Посадят пацана за ерунду, а он выйдет готовым специалистом. Там знаешь, как сериалы смотрят — во всех же в них показ: тюрьма и следствия. Смотрят, как учебники. Как кого покупают, кто на чём попался. Естественно, из-за баб. В основном, конечно, в этой кинятине туфту гонят, кино, одним словом, и у них там режиссёры — шпана, но у блатных есть и свой опыт. Туфту анализируют, базар фильтруют, пацанов на будущее готовят. Хоть коммунизм, хоть что, работать все равно неохота. Сейчас вообще такое время, что его лучше в тюрьме пересидеть. На всё готовом. И церковь в зоне есть.

— Эх, — вскрикивает парень, — О, сол лейк-сити, Америку спустите! Мы — дура, без тебя прекрасная страна!

— ЖИТЬ ВРОДЕ легче становится: не голод, а жить всё страшней. Собаке раньше бросишь картошку — рада. Потом хлеб и им бросали. Потом они и хлеб перестали есть, мясо давай. Говорили: социализм — это учёт. Стали считать. Рассчитают, сколько корму на зиму для коров, столько и заготовят, а тут весна на месяц задерживается — падёж. Это в колхозе. Да и дома — наготовили солений-варений, а гости едут, родня нахлынула. То есть и накорми, и в дорогу дай. Да друг перед дружкой стали выхваляться. У кого больше да модней. Работа стала не в радость, а в тягость. От нервов пить стали больше. Страхом не удержишь. Возили водку до войны на лошадях, после войны — на машинах, сейчас вагонами возят — не хватает. Хотя читал вчера, мы всё равно меньше других пьём. В войну столь не гибло, сколь сейчас.

— Так и сейчас война. Война с бесами пьянства. И они побеждают. Несём потери. Могли бы небесное воинство пополнить, нет, идём в бесовское. Ведь и там война.

— И там брат на брата? Трезвенник на пьяницу?

— Ну, всё гораздо сложнее.

— А как?

— Если б я знал.

ТОМСКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ. 1812 год, весна. Журнал “Русская старина” (1879 год, с. 738) извлекает из массы документов того года, кроме относящихся к войне с Наполеоном, ещё и документы самые обычные. Жизнь состоит не только из войн с неприятелем, но и с грехами человеческими.

“В Томскую градскую полицию от губернского стряпчего Сунцова

Сообщение: Бывший при разборке старых дел в ведомстве моем губернский регистратор Полков, не сказавши ни мне, ни сторожу, унёс к себе казённую лагушку (шайку), по неимению которой теперь воды сторожу принести нечем. Да означенные дела едят мыши, к уничтожению коих имел я собственного kota, но и его упоминаемый Полков тихим ходом унёс, и на то есть свидетели. Для того прошу оную полицию приказать как лагушку, так и kota моего от него, Полкова, отобрать и отдать сторожу Степану Балахнину.

Таковые поступки предоставляю полиции на суждение с просьбою, дабы он впредь не осмеливался чинить оныя.

Губернский стряпчий Сунцов. 20 марта”.

ВЕСЕННИЕ РУЧЕЙКИ у нашего дома взросли вместе со мной. Они начинались от тающего снега и от капли с крыши на крыльцо. Я бросал в них щепочку и провожал её до уличного ручья, а на будущий год шёл за своим корабликом, плывущим по уличному ручью, до ручья за околицей. Он увеличивался и от моего, и от других ручейков, все они дружно текли в речку, а речка в реку. Однажды в детстве меня поразило, что мой ручеек притечёт в Вятку и Каму, и Волгу. Щепочка начинает плыть по ручейку, и сколько же она проплывёт до моря? Считал, и со счёту сбивался. А как считал? Шагал рядом с плывущей щепочкой, считал время, то есть соображал её скорость, за сколько, примерно, она проплывёт до Красной горы. Очень долго, может быть, часа три-четыре. А за Красной горой там такие дали, такие горизонты. Может быть, думал я, год будет плыть. К зиме или примёрзнет, или подо льдом поплывёт.

Когда через огромное количество лет узнал я от Вернадского, что вода — это минерал, что у неё есть память, я сразу поверил. Да-да, я это знал. Я же помню эту холодную снежную воду, и как я полоскал в ней покрасневшие руки, как с ладоней падали в ручей капли и убежали от меня, и уносили жёлтую сосновую щепочку. И помнила меня эта утекающая вода. И помнила себя в виде узоров на оконном стекле. И в виде снежинок, которые взблескивали в лунную ночь и, умирая, вскрикивали под ногами.

СПАСАЕМ ВСЕГДА не себя, а других. Вот мысль, пришедшая в голову в самолёте, когда шло объявление о поведении пассажиров в аварийных случаях. Кислородную маску вначале полагается надеть на себя, а уже потом на ребёнка. Иначе можно и самому погибнуть, и ребёнок погибнет. Вот и мораль: да спасись ты, матушка Россия, сама вначале, потом спасай “ребёнков”.

Разве не так было в конце 80-х? Погибали, надвигалась катастрофа, а всё надевали кислородные маски на республики. Сами погибали. И почти погибли. Но и республики недолго дышали кислородом.

МИТРОПОЛИТ: БОГ никогда не спешит и никогда не опаздывает.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОТОРВАННОСТЬ от России вовсе не означает оторванности от её корней. Если это корни православные. На четырёх долгих службах отстоял в Ташкенте. И не было совсем ощущения, что я в Средней Азии. Это храм православный, в этом всё дело. Причащался.

Конечно, много всего наслушался. В основном, хотят вернуться в Россию. Но куда, как? И почему оставлять нажитое молитвами и кровью? Здесь же уже им и родина. А в предках кто? Одних только архиереев в здешней ссылке было семнадцать. И несколько сотен священников. Земля исповедничества. И её бросать?

Всё перебаламутилось, взболталось. Сейчас муть оседает. Но не исчезает. Нет проточной воды.

ПРАВОСЛАВИЕ НИКОГДА не ставило задачи сделать жизнь людей легче. Для Православия главное, чтоб человек стал лучше. А станет лучше, то и любая жизнь ему будет хороша.

— **ЧТО ГОВОРИТЬ** — вся жизнь в России с петлей слетела, а мы ещё на какую-то справедливость надеемся.

— Не могла не слететь. Идеология — это псевдорелигия. У идеологии нет родины. Без корней, её и сорвало. Не люди партий (то есть частей общества), а люди целого нужны.

— И где их взять?

— Ну, нас уже двое.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ заслужить любовь людей, — это дело десятое. А вот жить, чтобы любить близких, вот тут-то... тут-то... да-а.

ВЫХОДИМ В ХОЛОДНЫЙ рассвет. Третий день Крестного хода. Иней на траве. Женщина: “Ой, холодно, ой!” Мужчина: “Вот и хорошо! Не закиснем. Можно без засолки жить”.

В СЕМИДЕСЯТЫЕ ОДИН президент одной африканской страны много делал визитов. И всегда брал с собой тех, кто, по его мнению, мог бы свершить переворот во время его отсутствия.

Аэропорт, встреча. Делегация спускается с трапа. Президент представляет его сопровождающих. Отдельно рекомендует: “А это мои мятежные генералы”. Они стоят кучкой. Хмурятся.

ДИПЛОМАТ НА ПРИЁМЕ:

— Мы пьём, говорим, спим, а чекисты потом всю оставшуюся ночь записывают наши разговоры.

Другой:

— А что записывать? О чём говорили? История цивилизаций? Мистика, стоицизм, космизм, стагнация, коллапс? Всё вроде умно, но ведь всё болтовня.

— Так болтовня — это и есть тот самый первичный бульон любых мыслей, из него всё рождается.

ХОРОНИЛИ АБРАМОВА. Человек из обкома не хотел давать выступить Василию Белову. Жена Абрамова, уже вдова, Людмила Александровна ворвалась в комнату президиума, где повязывали траурные повязки для почётного караула и во всеуслышание заявила: “Если не дадите слова Белову, я вам прямо у гроба скандал устрою!”

А тогда только что наши войска вошли в Афганистан. Не самовольно, отвечая на просьбу правительства. Теперь, по прошествии времени, понятно, что для нас-то это было трагично: сколько гробов разлетелось по Руси, но гибель Афганистана отодвинуло. Русских солдат — шурави — афганцы вспоминают с благодарностью.

И в моём родном селе есть могилы “афганцев” и, позднее, “чеченцев”. В другом районе, сам видел, могила солдата в его родном дворе. Потребовала мать, чтобы цинковый гроб (не разрешили открыть) закопали во дворе. Потом совсем недолго пожила, ещё ей и сорока не было. И цинковый гроб, и её, деревянный, упокоились на общем кладбище.

Вот она — русская судьба.

Тогда Василий Иванович предсказал трагедию Афгана.

Выступал там и Гранин Даниил. Причитал: “Ах, Федя, Федя, как ты рано умер, а ты так много обещал”. Ну, не глупость? Кто же тогда за Абрамова написал трилогию “Пряслины”? “Две зимы, три лета”? “Альку”? “Пелагею”?

Сам-то Гранин чего написал? “Иду на грозу”? Очерк об учёных. А с Адамовичем походили по квартирам блокадников, позаписывали. Да всё вставляли в разговоры о мерзостях, например, о том, куда приходилось девать экскременты. Именно эти либеральные классики воспитали нобелевскую лауреатку, которая соскребала с женщин на войне только грязь, только оговоры нашего воинства.

А вот есть в Белоруссии прекраснейшая писательница Татьяна Дашкевич. Она написала книгу “Дети на войне” — великая книга! И в ней много трагичного, но в ней есть свет любви.

Да, Фёдор Александрович. За неделю до его кончины мы с ним, ещё Василий Иванович, обедали в ресторане гостиницы “Россия”. Он всё подшучивал над Василием Ивановичем, тот над ним. “Чего ж ты сёмгу заказываешь, ты же написал про неё “Жила-была сёмужка”? — “А ты и сёмужки в Вологодчине сухопутной не едал, хоть сейчас поешь. — И мне: — Пей, на нас не гляди. Пей. Написал же “Живую воду”, пей, не уклоняйся от привычек народа”.

Когда гроб с телом его опустили в родную ему землю на высоком берегу Пинеги и воздвигли над могильным холмом ещё один холм из цветов, в де-

реченом клубе начались поминки. Село человек триста, но ведь очень много приехало отовсюду. Люди всё шли и шли. Шли и несли поминальные рыбные пироги, завернутые в старинные расшитые полотенца. Женщины из Архангельского народного хора, всё увеличивая льющиеся слёзы, пели любимую песню писателя-земляка: “Ой, по этой травушке ходить не находиться. Ой, по этой травушке тебе больше не ходити, ой, на эту травушку тебе больше не ступати...”.

ГОД КУЛЬТУРЫ закончился сокращением числа сельских библиотек. Вот спасибо. Это убийство культуры. Год русского языка закончился сокращением часов на его преподавание. Год литературы ознаменован разовыми компаниями встреч с читателями, разворовыванием “грандов”, прославлением пишущей либеральной шпаны и... что и? Год литературы кончился, позорно, но, слава Богу, русская литература не кончилась.

— ЁРШ ДУРАК, а окунь умный. Ёрш, хоть сытый, хоть голодный, всё равно хватает. Тащишь его и заранее плюёшься. Ещё же надо с крючка снять. И колочий, и сопливый. А окунь вначале к червячку присмотрится, принохается. А как попадётся, тут же моментально заматывает леску за лопух, за корягу. Умный. Красивый, полосатенький.

ИВАН ФЁДОРОВИЧ, фронтовик:

— В Венгрию вошли, не забыть! Поле, копны соломы, всё вроде, как в колхозе, бегаем за немцами, гранатами, прямо как снежками, кидаемся. Мне попало. В госпиталь. Очнулся — кости, мясо на ногах — всё перемешано. А вшей там! Смерть чуют. Перестелили всё новое — всё равно вши. И меня письмо нашло. От матери. О налогодобложении. И яблони облагали. Вырубить она, я понял, не посмела, подсушила. Пришли: или отдавай овцу, или деньги, или под суд. Овцу увели. Она им: “У меня муж и два сына на фронте”. Написала на командира части. Ко мне приходит в палату особист. “У тебя мать неосознательная”. — Сам носом крутит, ещё бы — мясо на ранах гниёт, пахнет. — “Так и неосознательная есть хочет. — Вот ты как заговорил, а тебя хотели к награде. — Зачем награду, овцу верните. — Тебе, значит, овца дорожке награды родины?”

А сам торопится. Ушёл. Ну, и ни овцы, ни награды.

Да. А там же, в Венгрии, ещё до ранения, у нас было: первый солдат в город ворвался. И его хотели к Герою представить. Действительно, герой: двое суток без сна. Там под всеми домами подвалы, в них бочки, вино своё. Он зашёл в подвал — бочка. Стрелил в основание — струя льётся. Выпил пару всего стаканов, с устатку распьянел. Дай полежу. Уснул. А струя льётся. Так и утонул. И Героя не дали. Мы с ребятами обсуждали, жалели его. Хоть бы посмертно присвоили — семье бы какое пособие. А этот же, наверное, особист и пожмотился. Сам-то брякал железками.

Да, надо ему было не в низ бочки стрелять, в серединку хотя бы. Они же, буржуи все, бочки у них, как цистерны, залило подвал. Да, нагляделись мы в этой Европе. Жадные до свинства. И чего на нас попёрли, чего не хватало?

В ЦЕРКВИ КТО? Народ. А Церковь отделена от государства. То есть государство отделило себя от народа. И публично в этом призналось.

Давайте и ленинские рассуждения о государстве вспомним. Он говорил о постепенном отмирании государства, ибо по его выражению, “государство есть машина угнетения одного класса другим”. То есть, какой тут вывод? Государство отомрёт, а Церковь останется. Так получается. Умный какой Ульянов-Ленин.

УШИНСКИЙ: “НЕХРИСТИАНСКАЯ педагогика — вещь невысказанная — безголовый урод и деятельность без цели”.

ГЛАВНОЕ СПАСЕНИЕ и людей, и государств — в Православии. И это так просто усвоить. Оно, Православие, принесено на землю живым Богом.

Оно не продиктовано учителями иудаизма, не сочинено мудрецами буддизма. Оно не обещало, как латинство, как отпавшие от него протестанты, идеи земного блага, дошедшие до одобрения банковских процентов, и это при резком порицании Христом ростовщичества! Православие говорило о спасении души, о том, что смерти нет.

И в этом безмертие Православия.

Но до чего же горько прав Свиридов: “Русский дурак отдал алмазную гору веры и красоты за консервную банку цивилизации”.

А какое змеинное скользкое слово: ци-вили-за-а-ция.

— ЯГОДИНОЧКА ПРИШЁЛ, да говорит про интерес. Говорит с утра до вечера, а мне не надоест. Я люблю свои рюмашки, тёща нохает ромашки. Боюсь за маманю я — вдруг токсикомания.

Коль вдохновляет тебя злоба, ты не успеешь ничего. Уже стучат по крышке гроба, по крышке гроба твоего.

Пьяница любит горько и солёно, дурак любит красно и зелёно.

— ЭТО РЕДКОСТЬ, чтоб отец пил, а сын — трезвенник. Чаще отец не пьющий, а сын полощет. А у нас вот счастье великое — все трезвенники. Делали когда вечеринки, к нам некоторые и ходить не любили: у вас, мол, и не выпьешь как следует. Тятя у нас до войны пострадал, за месяц до войны посадили. За паникёрство. Он говорил, что война с Гитлером всё равно будет, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Посадили, тут война. А в военкомате даже не знали, что его забрали, суда ещё не было, несут повестку. Мама с этой повесткой бегом в прокуратуру. В армию, потом говорила, плохо, а в тюрьму хуже того. Да-а.

А тятя ещё раньше успел всего наготовить. По радио, в газетах кричат: малой кровью на чужой территории. Нет, тятя понимал. Он начитанный книгами был. До двух ночи, до трёх читал. Мама ругалась: опять керосин в лампе выжег. Так вот, тятя ещё раньше чувствовал про войну. Говорил: нет, это не на месяц. Наготовил нам в запас: ящик спичек, ящик махорки, ящик мыла. Все ёмкости заполнил керосином. Самое ценное было — табак. Ещё выращивать его не научились. Это уж потом стали сажать, табакорезки делали. Рассчитывались махоркой. Меняли на хлеб. У нас же никто не курил.

Старики со всей деревни к нам. “Андреевна, сыпни хоть на закрутку”. Мама их жалела, отделяла табаку. Говорит: “Они, когда курят, так хоть голова не чувствуют”.

Да и тятя с войны вернулся курящим.

В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ. ШКОЛЬНЫЙ вечер поэзии. Старшеклассник читает Лермонтова. В зале школьники, много родителей. И представитель райкома КПСС. Чтец волнуется, он в отцовском, по случаю выступления, пиджаке.

— “Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит...”

— Стоп, стоп, стоп, — говорит представитель. — Как это один? А где коллектив?

— БЫЛИ КОГДА-ТО и мы русаками.

ПЛАНБОЙ — ТАК Серёжа у пивной называл шлагбаум. Он в заключении его поднимал, дежурил у ворот, но так и не научился правильно называть. Или не хотел, под дурачка косил: легче жить? “А как попал? В войну волков расплодилось страшно. В деревню ночью приходили, собак даже от них прятали — сожрут. А пасти коз и овец все отказывались. Меня заставили, мне пятнадцать было. Просился на фронт, нет, иди паси. Конечно, утащили у меня двух овец. И всё, и на десять лет, как вредителя, закатали. Потом, по инвалидности — ногу трактор переехал — выпустили. Но группу не дали. И жили с больной матерью, а чем жили? Когда кто пожалует. Хлеб на машине раз в неделю привозили, а как снега повалят, сидели без него. Матери приносили старую кожу от скота, кости, она мыло варила. И дров для печки. Запах страшный, но всё ж таки тепло. И какой лоскуток кожи разварится, его зубами жамкаешь, шерсть отплевываешь”.

“О ИЗОБИЛИИ ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ”. Долгое время, когда в церкви слышал этот диаконский возглас, то сразу в памяти представлялось наше поле, засаженное картошкой, эти ряды, пласты, которые мы окучивали, пропальвали, на которые была вся наша надежда на пропитание в долгую зиму. На что ещё было надеяться?

Но вот что важно сказать! воровства почти не было. Почти — это один-два кустика кто-то выроет, и всё. Или кто с голодухи, или мальчишки шли в ночное или на рыбалку. Но не больше.

Ещё помню Подмосковье (ближайшее) — всё совхозно-колхозное. Поля, поля. Нас в банно водили из сержантской школы в Вешняках (метро “Рязанский проспект”, недалеко от Кусково) в Текстильщики (метро “Текстильщики”) раз в неделю. Шли через поля капусты, свёклы, моркови, кукурузы, то есть через Кузьминки. Конечно, улучив момент, выскакивали из строя и вырывали кочан, какой побольше. Его тут же раскурочивали и съедали.

В этом я даже и не каюсь. Не воровство это было, а витаминная подкормка солдат—защитников Отечества этим самым Отечеством.

ЧЕМ ГРОМЧЕ в человеке крики совести, тем он тише.

Женщина впитывает чувства и страсти столетиями, отдаёт в мгновение.

Сграбастать за горло может сильный, запустить когти в душу — хитрый.

ПИСАТЕЛИ ДРАЛИСЬ за квартиры (60-е, 70-е, 80-е) так остервенело, что казалось — в этом весь секрет продукции их талантов, что в больших квартирах они создадут нечто большое и возвышенное.

И где оно? А из-за квартир со временем стали остервенело драться писательские дети и внуки. А дедушкины рукописи, чтобы не тащить с улицы грязь в дом, подстилали в прихожей на паркет.

Исписавшихся, конченных писателей, хоть они ещё живые, уже не ругают: о них ни хорошо, ни плохо — ничего. Когда писателя ругают, то как бы его ни унижали, это значит, что он ещё на что-то способен.

А на этих живых мертвецов я наглядился. Они не стояли за трибуной, а лежали на ней. Не говорили, а изрекали. И непременно выступали на каждом пленуме, съезде. Если он явился, попробуй не дай ему выступить.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ в стихах описал одну встречу в пути. “Увидел из вагона: два еврея играют в карты, в “дурачка”, сочинил: “В могучих зарослях кипрея, то спину грея, то бока, два волосатые еврея весь день играли в “дурака”. Они в игру свою вложили ум и способности свои, и были равными их силы, и всё ничьи, ничьи, ничьи. А за бугром, в степи безкрайней, весь день держа штурвал в руках, сидел Ванюша на комбайне, всё в дураках, всё в дураках”.

А Старшинов играл всю жизнь в “дурачка” с Владимиром Костровым. Счёт у них был примерно двенадцать тысяч на одиннадцать. Мы были в поездке, в северном леспромхозе, ночевали в конторе. Они всю ночь играли, ещё и курили. Я сочинил такую пародию: “Нечёсаны, полуодеты, среди сигаретного дымка, два сильно русские поэта всю ночь играли в “дурака”. Забывши дом, семью, скрижали, не написавши ни строки, они сто раз подряд бывали поочередно “дураки”. О, братья, бросьте ваши драчки, вернитесь к родине своей, не то вас крепко одурачит всю ночь рифмующий еврей”.

Интересно, что это был тиснуто, кажется, в “Литроссии”. И никто нас со Старшиновым в антисемиты не записал. Смеялись.

БЫВШИЙ БРИГАДИР:

— Ох, работали! Агроном за лето две пары кирзовых сапог изрывал. А как уборка шла, да если вдруг, в частом бываньи, непогода? Я всяко хитрился, но у меня чтоб люди без простуды. А как? Дождище хлещет, картошка тяжеленная, старики, дети-школьники, женщины — как сохранить?

Вывозил в поле котлы, воду кипятил, заваривал чего-разного, травы. И поил горячим. Да ещё хлебушка, да ещё с молочком! Да когда и по яичку. Самто, конечно, на другом подогреве держался. С мужичками за день бутылки по три-четыре ошарашивали. Не вру! И — жив! Сейчас? О-о, нынешних бы в то поле вывезти, никто бы не вернулся (хмыкнул). Но нынешние и не поедут. Нынче дураков нет. Нынче люди стали умнее, а жить стало тяжелее. А тогда крепко нас подсадила компартия (подумал). Но хоть работали, хоть почувствовали. Нисколько не жалею себя за те годы, нисколько. Было б позорнее, если бы я, например, на митинг пошёл чего-то требовать. Глядел я на этих, что на Анпилова, что на эту Новодворскую. Только орать. А лопату не хошь в руки? А сто мешков мокрых перетаскать, загрузить-разгрузить, а они по шестьдесят, по семьдесят килограмм (долго молчал). Если бы в Бога не верил, уже бы и не жил... Ох, Россия ты Россия, матушка...

ВЗЛЕТЕЛИ НАД СВЯТОЙ ЗЕМЛЁЙ. Облака редкие, над морем стоят над своей тенью. И будто и самолёт замер. Нет, летим. Оглянулся назад — одно море, Боже мой, где ты, Святая Земля? Сердце бьётся, говорит: “Здесь Она, здесь!” Всю, что ли, забрал?

В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ подсел вполне приличный мужчина. “Я к вам попросился, женщин с вами нет. Я вообще с ними бы так мечтал: вот она с тобой побыла, всё хорошо, а дальше, чтоб с ней не возиться, нажимаешь кнопку, и она исчезает. А без них — милое дело. Хочу — налью, хочу — не налью, а с бабами? Ты что! Я их знаю, баб. У меня было много бабов. Чего-нибудь заказать?”

У КОРМУШКИ для птиц в Никольском: “Божья тварь, Божьих тварей кормлю. Потому что синичек люблю и воробушков в серой оправе. Божья тварь, печку в бане топлю и молитвой несчастья к нулю низвожу: унывать я не вправе”.

КОГО ТРУДНЕЕ разбудить, похмельного или бездельного?

НАСИЛЬНО ВЫРАБАТЫВАЛИ советскую национальность. Они же, большевики и коммунисты, видели пример: получилась же американская нация, и у нас получится. Вся пропаганда работала на советский образ жизни. Национальное если и допускалось, то только в кухне, костюме, песнях и плясках. На это денег не жалели. Но национальное мышление? Боже упаси! Особенно убивалось русское. Особенно в слове. Вот я писатель. Но я не русский, а советский писатель. Помню, старик Троепольский просил в аннотации указать, что он русский писатель. Ничего не вышло. Советский! Но ведь Айтматов, пусть и с советской приставкой, — киргизский, Сулейменов — казахский, Юхаан Смуул — эстонский, Ион Чобану — молдавский, Думбадзе — грузинский, и далее по тексту. А ведь выходили они к международному читателю только через русский язык. И печатали их куда усерднее, чем русских.

Вся эстрадная машина работала на советскость. Маяковский очень ценился: “Я — гражданин Советского Союза!”

Правда, вот вспомнил, в армии пели, да её и по радио часто пели, песню о русском Ване, солдате Советской Армии. “У нас в подразделении хороший есть солдат. Он о своей Армении рассказывать нам рад. Парень хороший, парень хороший, вот он тут как тут. Все его любят, все его знают, не без основанья! Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут? “По-армянски Ованес, а по-русски Ваня”. Песня длинная, много же национальностей, и все сводились к Ване. Как бы ни называли парня, откуда бы ни был призван, всё сплошной Ванёк. Но и это была пропагандистская поделка. Назойливая. И, конечно, насмешливая реакция на фальшивку не замедлила явиться. Пели: “У нас в подразделении хороший есть солдат. Пошёл он в увольнение и пропил автомат”.

ЖЁНЫ ЖИВУТ дольше мужей потому, что кричат на них, сваливают на них все свои страдания и беды. Кто виноват в том, что жена хуже всех одевается, выглядит и так далее? Конечно, этот эгоист, который никого не любит, только себя. Так и не женился бы.

Жена наорёт на него, наорёт, очистит свою нервную систему и пошла. А он, что ему-то делать, во всём виноватому? Ходит по квартире, посуду моет, только это и получается. Да и то, по опыту знает, что вернётся, возьмёт чашку и, конечно, скажет: “Это ты так чашки вымыл?” Начнёт перемывать.

— **НЕ РАДУЙСЯ — НАШЁЛ**, не тужи — потерял. Это мама всегда говорила. Это вспомнилось, когда я пережил попытку электронного ограбления. Я — образца 1941 года — дитя войны. И правительство решило нас порадовать, прибавить немножко к пенсиям. Спасибо, есть за что. За голод и холод, за верность Отечеству. Несмотря на засилие марксизма-ленинизма, терпеть которое тоже было противно. Но притерпелись, знали, что четвёрку по истории партии всегда поставят.

Так вот, звонят мне: “Вы в программе “Дети войны”, вам полагается приплата к пенсии полторы тысячи рублей”. Спасибо. Для Москвы это, конечно, копейки, но и то хлеб. “А для этого продиктуйте номер вашей сбербанковской карты”. И я, как последний вахлак, всё продиктовал. И кодовые цифры, всё. Спасибо жене, как раз вернулась и ахнула: муженёк все секреты разглашает. Погнала в Сбербанк снять деньги. А и было-то их чуть-чуть. Да ведь и их жалко.

Но что думаю: доверчив я? Да. Но доверчивость — чувство православное. А ещё бы хотелось видеть эту женщину, которая так ворковала, так радовалась за меня, за дитя войны, что мне немножко будет полегче. Из неё получилась бы эсэсовка. Грабишь стариков? Что ж ты не идёшь Чубайса грабить? То-то.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ и совесть — это в человеке голос Божий. Именно Господь и именно в этом месте Вселенной вывел на свет Божий именно этого человека. Чтобы человек берёг это место. И если в этом месте теперь земля разграблена, вода отравлена, воздух загажен, то с кого спрос? С рождённого здесь. А где он? А его нет. Ему в другом месте лучше. Ну да, в армии служил, ну да, учился, женился, но не может же быть, что не болит твоё сердце о родном. И эта боль хоть как-то оправдывает тебя.

СТАТИСТИКА 1903 года:

Людей на планете — один миллиард пятьсот сорок четыре миллиона пятьсот десять тысяч.

Из них:

Христиан: пятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот сорок тысяч. Может быть, тут и католики и протестанты?

Магометан: сто семьдесят пять миллионов двести девяносто тысяч.

Иудеев: десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч.

Другие: конфуцианцы, буддисты...

Итак. На тысячу человек: 346 христиан, 114 магометан, 7 иудеев, 553 остальных.

И какие вы ждёте комментарии из 2016 года?

Одно: Православие внесло смысл в существование мира. Второе: так что же, неправославные погибнут? Это знать не нам. Нам — радоваться, что мы православные.

ХЕЛЬСИНКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ книги моей в огромном магазине, сказали, крупнейшем в Европе (тогда, год 1986). Ещё японец, тоже с книгой. Сидим рядом. Представляют меня. Чего-то жую о деревенской прозе, хвалю друзей. О себе: очень ещё несовершенен, учусь у классиков, очень благодарен за перевод книги на финский язык.

Представляют японца. Рубит фразами: “Мои тексты исследовали с помощью электронной техники! Я первый в японской литературе по построению фразы! Я близок по стилю к Акутагаве Рюноске, достиг Кубо Абэ, равен Киндзабуро Оэ...”.

И, конечно, его книгу раскупают. Ко мне очереди нет. Да ещё и очень понижает моё настроение плакат: обложка моей книги, зачёркнутая цена, написана новая, гораздо меньшая. И хотя это, конечно, не уценка, а распродажа по случаю присутствия автора, всё равно не по себе. Вот и мямлю. Мой издатель очень огорчён.

Что делать? А дай не сдамся японцу! Набираюсь решимости, беру микрофон:

— Да, пишу я хуже Пушкина, Достоевского, Шолохова, но всё впереди! А что касается современников, тут со мной всё в порядке!

От японца пошли ко мне. И покупают. То есть, что это было с моей стороны? Похвальба, уверенность в своих силах, самореклама? Всё это как-то противно. А японец хоть бы что. Дотягивается до моего плеча, дружески хлопает.

— СЛАВА БОГУ, понемногу стал я обживаться: продал дом, купил ворота, стану запираяться. Скорее всего, ещё дореволюционное. Слышал от отца.

КОПАЮТ ТЯЖЁЛУЮ глину. Никаких перекуров. “Давай отдохнём. — Давай”. Наваливают бревно на козлы, начинают пилить. Это у них называется отдыхать. Тянут. К себе, от себя. На тебе, дай мне. Или, если почаше: тебе, мне, начальнику. И в самом деле, спины распрямились, стало полегче. И можно поговорить. Пиллят. Туда-сюда, туда-сюда. “Ак чего скажешь, ведь парень-то у меня грозитя невестку в дом привезти, это как? — Не знаю, паря, не знаю, тебе с ней жить”.

ЕФРЕЙТОР ХОДИЛ за водкой. Две в карманах брюк, две в карманах шинели. Засекли. Побежал. За ним бегут. Выхватил одну, сорвал бескозырку, то есть жестяной колпачёк, и на ходу отглатывал. Это левой рукой. Правой вытаскивал из карманов бутылки и швырял их, как гранаты, под ноги преследователям. Ведь ясно, что всё равно сидеть на губе.

У нас в части такое было. Ефрейтор стал героем. Хотя и стал рядовым.

ПЛОХО ПРИВЯЗАЛСЯ. Работал на куполе. Упал, даже вмятина в земле. А выжил. Говорил потом: “Полетел, успел сказать: “Матерь Божия, спаси”. Ночью в больнице вставал и молился. А днём встать не мог”.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ. Писатель, и очень известный, полюбил. Лучше сказать, увлёкся. Но увлёкся крепко. И, хотя отлично, при его-то опыте, понимал, что не стоит она “безумной муки”, но, но и но...

Приезжал в Москву, жил у нас. Мы всегда были рады ему, но у меня с ним одно не сходило: я не мог сидеть ночью, слабел, разговор не поддерживал, а он как раз ночью бродил, зато назавтра валялся до полудня.

Сидит, роется в своих сумках, ищет лекарства и громко (он ещё глуховат) рассуждает:

— Московские умные шлохи насилуют знаменитых провинциалов. Готовься писать рассказ о том, как старый, нет, лучше, в возрасте, человек выдумывает себе утеху и, конечно, обманывается. Но! — поднимает палец, — отметь то, что любит он сильнее, чем та, что, важная деталь, признаётся ему в страстной любви. Он любит сильнее и надёжнее. Думает о ней ежедневно и полагает, что и она так же думает. Серьёзно думает. Это его идеализм. — Шарит и шарит по сумкам. — Рассказ назови “Вечерний разговор о... например, о Скотте Фитцджеральде”. Но рассказ о другом. Читатели это любят. Ей надоело уже моё присутствие в мире. Она сейчас, конечно, утешается с другим. А чего я ищу?

— Лекарство ты ищешь.

— Да. Но я его уже нашёл. Я ищу носки.

— Прими лекарство, а то опять потеряешь.

— А носки где?

— Я тебе свои дам. Больше ничего умного не говори, а то я спать хочу.

— А лекарство-то где? Ты же не бросишь человека, не принявшего лекарства? Пойду носки стирать. Представляешь, ко мне вернулось состояние, что сидишь где-то в людях, что-то говоришь, а думаешь о ней. Ты ложись, ложись, а я посижу, напишу письмо, пока душа полощется. Пусть она изменяет, я буду любить. Любить и делеять любовь. Душа потом отблагодарит. Подожди, я же книгу ищу. А нашёл носки.

Уходит в ванную, стирает носки, поёт:

— Лебединая песня пропе-ета-а, но живёт ещё э-э-хо любви. — Выходит из ванны: — Как? Эхо живёт. А эхо живёт?

— Ну, пока звучит.

— Красивость это или нормально?

— Ну, если живёт, конечно, нормально. Хотя вообще всё это у тебя с ней ненормально.

— Но меня не долюбили! — восклицает он. — Отца не было, мать на работе, девчонка боялся. Одиночество полное! От одиночества стал писателем.

— Так одиночество для писателя — это норма. Без него ничего не напишешь. Я ж тоже всё время рвусь в деревню.

— Это поверхностное — бег от семьи в деревню или там на дачу. Временное уединение. Нет, когда одиночество глубокое, постоянное, настоящее...

— Значит, ещё лучше напишешь.

— Как ты жесток! Занавес ещё только поднят, а ты уже убиваешь. — Опять начинает что-то переключать в сумках. — Пиши: “В семнадцать лет он ещё был хорош, пел песни и разыгрывал из себя знаменитого актёра, похотливого старичка, который любил ничтожных актёрок. Читал искусственным голосом Толстого и Пушкина: “Барышня, платок потерял!”. “А Катюша всё бежала и бежала...”. Он не знал жизни, всех этих мерзавок, которые его обманывали”. Хм-хм! Голос прочищаю. “Я всё твержу: я нежно так, я нежно так — тут повтор — нежно та-ак тебя люблю-у”. Тут снова надо спеть повтор. Она меня хотела якобы только увидеть. “Ах, вот вы какой, ах, я прочла ваше ожидание любви, я поняла, что это обо мне, и вот я пришла”. О, радость, муза в гости! А получилось вот что. Запиши: “Нельзя быть копией жизни. Литература — это самостоятельная выдуманная жизнь, которая навязывает настоящей жизни правила игры”. Деревенской прозе не хватило пары белых усадебных дворянских колонн.

— Да эти дворяне после 61-го года приходские школы уничтожали, чтоб мужики оставались неграмотными. Земские создавали, а из них священников выгоняли. Дворяне! Паразиты и захребетники! — возмущаюсь я. — Дворянская культура! Да она только для них и есть. Французский учили, чтоб слуги их не понимали. Тургенев крестьянку шестнадцати лет купил и сразу её — в наложницы. А перед своей французенкой шестерил. И вообще все западники такие! А читателей им больше досталось. Да плевать! Всё, спать пойду.

— “Судьба решила всё давно за нас”, — поёт писатель и комментирует:

— Жуткие слова: “всё решено за нас”. Но если судьба — суд Божий, то всё правильно. — И на эту же мелодию (поёт): “Я душу дьяволу готов прода-ать”.

— Но это уже совсем ужас, — говорю я. — Это ты не смей: заступник народный готов продать душу дьяволу — за что? За лживую бабёнку?

— Вот так и бывает, — говорит он и снова роется в сумках. — Да! Зная, что живём первый и последний раз, что добро было всегда и будет всегда, что зло было, есть, но не будет, попадаем во зло. — Поёт:

— Зло появилось точно из-за на-ас. Но в будущем ему не-э жить!

— И этих бесовок не будет? — спрашиваю я. — Это вряд ли. Будешь чай?

Он бросает на пол найденную книгу.

— Зачем я её искал? Спроси: зачем я её искал? А лучше спроси: зачем я её писал? Может, чтобы именно она прочла и нашла меня? Старичок, думал ли я, — он даже руки вздевает, — что может быть такое сильное наваждение тёмной силы? Спать идёшь? А мне мучиться и страдать? Но я счастливый.

— Счастье в чём?

— Счастье в оживлении работы сердца.

— Работы какой? На эту бесовку? То есть именно она оживляет работу твоего сердца? И ведёт к надписи на могильном камне: “Эн-эн погиб не на дуэли, его страдания доели”. Объявляю: ухожу спать.

— Какой сон? Тебе счастье выпало — слушать мои откровения. Спать? Продолжу о бабуе. У них знания сосредоточены в сумках и сумочках. Поэтому они нуждаются (пауза) в носильщиках.

Сходил в коридор:

— Старый еврей рассказывает внукам о поездке в Москву: “Деточки, я жил у очень богатых людей: у них везде горит свет”.

— Дедушка, это они освещали тебе дорогу в туалет.

Он садится, немного отпивает из чашки.

— Это ты новый заварил?

— Ты же все равно спать не будешь.

— Думал сейчас, что Бунин — это уровень Рахманинова. Я записывал его ещё на колёсный магнитофон. И тогда же знал наизусть “Таню”, рассказ из “Тёмных аллея”. Пересказать?

— Давай. Я подсуфлирую. А знаешь, что в старости он страшно, как и Толстой, матерился? Вот не Шмелёва, не Лескова, а их возносили.

— Надо сесть и написать работу “О тех, кто долго был забыт”. И откликнется родная душа. “Рояль был весь раскрыт и струны в нём...” Да, осталось верить в рыдающие звуки. Выпью. За Афанасия Афанасьевича. Толстого он переживёт. И за Астафьева надо выпить. Это певец искалеченного народа. Не набрался нежности, жил мстительностью к советской власти. Любить её было не за что, но жить было надо. И мы жили! Я ощущаю себя, будто только заканчиваю пединститут и не знаю, чего меня ждёт.

Опять начинает рыться в сумках:

— Хотел тебе подарить, мне подарили, о Зарубежье. Адамович, Иванов, Зайцев, Берберова, Бунин опять же, хоть и матерился. Автор с некоторыми был в переписке, взял их письма, бросил на грядки страниц, пересыпал текстом, и всё. Нет, приказчик в начале двадцатого века был выше советского писателя. Цинизм московской критики — это ругань даже не извозчиков, а таксистов. — Подходит к окну: — Запиши: “Как небесны мысли, когда смотришь на вершины ночных вязов”.

Я уже тоже наполнил крепкого чаю и смирился, что ещё придётся долго не спать. Он вещает:

— Жизнь надо прожить, чтобы собрать богатую библиотеку.

— И обнаружить, что она не нужна и что её выкинут.

— Даже и с пометками?

— С ними ещё быстрее. Так что не трудись их делать.

Он понурился, тут же поднял голову:

— Русские писатели в шестидесятые написали правительству письмо о гибели русской культуры. И Шолохов подписал. И на письме, — писатель кричит, — была резолюция: “Разъяснить тов. Шолохову, что в СССР опасности для русской культуры нет”! Понял, да? Эта резолюция обрекала Россию. Вот когда погибла советская власть. Почему было не появиться коротичам, вознесенским, войновичам, ентушенкам, почему было не обвинить Шолохова в плагиате, почему было не раздуть непомерное величие Солженицына, убийственное для литературы. Так-то, милый. Одна и та же операция: вырезать, унижить, оболгать лидеров русского слова, внушить дуракам, что по-прежнему мы сзади мировой культуры. Внушили же! Дни нечистой силы стали праздновать!

— Плонь, не переживай. Русские не сдаются.

И ещё прошло время. И опять он приехал. Опять сидим. Но стал он какой-то другой:

— У меня будет страшная старость. Въезжая в неё, я всё ещё вписывал кое-что в ловеласовский блокнот, а? Хорошее название? Да? А потом что

стало? Помни: нельзя иметь дело с бабами и оставлять об этом письменные следы. Бабы — это твари!

— Ничего себе поворотик! Да ты ж прошлый раз речитативы и арии о ней свершал.

— Тварь! Сняла копии, давала читать, подбросила журналистам. Чтоб развести. Но не будем о ней. — Сидит, молчит. Встряхивается: — Будем о нас. Мы, наше поколение, вошли в классику, как воры в трамвай: всех обчистили и выдали за своё. Но это было спасительно для классики. Ибо иначе вошла бы в неё шпана и убила бы классику. А мы сохранили. — Берёт со стола кружку, протягивает: — Любезный, нацеди.

ФАНФУРИКИ. В РОДИТЕЛЬСКУЮ субботу на кладбище всё прямо кипит от пришедших на могилы к родным и близким. С цветами, с поминальными пирогами. Кто и с выпивкой.

— Этого я очень не люблю, — говорит мне женщина, убирающая родительскую могилку. — От этого же покойнику только хуже. — Оглядывается. — О, а Павлик-то опять здесь. Была мать жива, не больно-то навещал, а на могилу чего не придти. Все видят — сын хороший.

— Да ладно. Хоть так вспомнит о смерти. У всех же один конец.

— Павлик-то? Да никогда не вспомнит! Он над матерью всегда смеялся. Она в церковь ходила, а он ей: время не трать и деньги в церковь не носи, лучше дай мне на радость жизни. На фанфурик.

— На что?

— На выпивку. Пузырьки такие. Лосьоны, одеколоны. И лекарства, какие на спирту. С друзьями полощет. Говорил: “Смерти я не боюсь, всё равно все в раю будем”.

— Как это?

— Так и говорил. Говорил: разве не слышали, как на отпевании поют? Поют “Со святыми упокой”. Со святыми! Как ни живи, лишь бы отпели. И вечная память и рай гарантированы.

— Ну, это он очень самонадеян. Аксаков ещё в прошлом веке написал: “Всем “вечную память” пропоют, но многих ли потом вспомнят?”

Но ровно через год я убедился, что Павлик не забыт. На его могилке было много пустых фанфуриков.

ЗАВТРА НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. В церкви поздравляем друг друга, обнимаемся, просим прощения. И выходим из храма, будто на фронт идём.

В СТУДЕНТАХ НА ВТОРОМ курсе выпускали мы рукописные журналы “Кто во что горазд” и “Молодо-зелено”. Занималась ими Надя, будущая жена моя. И вот только что призналась (она вообще сверхскупая на добрые слова о моих трудах, молодец; хвалила бы — загубила бы) — призналась, что тогда её покорили два моих стихотворения. И она их помнит наизусть всю жизнь. Я и не поверил, я их совсем уже не помнил. Прочла:

“Подснежник. Апрель для зимы горек: вода проталину вымыла. Поляна ладошку — пригорок — из vareжки снежной вынула. Листок одеяльцем стелет, но разве сладись с ребёнком: проснулся, на нитке стебля мотает своей головёнкой. Расправила хрупкие плечи его двухнедельная участь. Я старше его и крепче, но мне бы его живучесть”.

И ещё: “О, море-море, прилив — отлив. Прилив уходит, шумит пролив”... Тут, честно скажу, дальше не помню, — призналась Надя. — Но это подводка к основному: “Когда я о море с грустью писал, то вспомнил невольно о вятских лесах. Они, как море, простором полны; Для птиц их вершины — как гребень волны; Там тоже, как в море, дышать легко, но то и другое сейчас далеко. И неотрывно в сердце всегда: туда непрерывно идут поезда... Старый-престарый весёлый сюжет: там хорошо лишь, где меня нет. Но если он стар, этот старый сюжет, то, может быть, плохо там, где нас нет”.

— Ну, доказала?

— Ещё бы.

Такой подарок от жены. Можно же мужа раз в пятьдесят лет похвалить.

Да, государство в полстолетие супружества нас “озолотило”: выделили нам по пять тысяч. Сумма. Тут как раз Наде к врачу с её болячками. Визит — восемь тысяч.

Вообще, это оскорбление, нанесённое нам государством. Лучше бы и не давали, мы и не просили, и не надеялись. И что такое сейчас пять тысяч! Смешно. А вот то не смешно, что это для молодых нынешних супругов, и так-то заражённых всяким цинизмом по отношению к браку, повод к лёгкому прекращению супружества: что и жить до золотой свадьбы, всё равно только сунут подачку на одну десятую мини-банкета. Ну, государство! Так поддержать примеры нравственного супружества! Пятьдесят лет держали оборону!

— Да ладно!

— Вот это твоё “да ладно”, вот оно и помогает нас за людей не считать, — говорит жена.

Я перевожу разговор:

— А вот эти стихи, тоже тебе посвящённые, помнишь? Может, вместе вспомним? “Жена моя, милый мой друг, что я, какой больной, чтобы ехать на юг — париться в этот зной? Там звёзды низко висят, плюнь на них — зашипят. Север в моей судьбе, северу — долг и честь. Там будешь ходить по избе, как самая что ни на есть!” Чем плохо? А в финале там выводил о высоких звёздах.

— Что это такое “самая что ни на есть”? Это по-русски? — сердится жена.

— Это по-вятски — высшая оценка красоты.

— Да у вас, вятских, всё не как у людей.

— Точно. Мы не люди, мы вятские.

Какое-то время жена молчит, но хорошее с утра настроение перебарывает, и она вспоминает:

— Я вот это помню: “Наш северный лотос — кувшинка, наш виноград — рябина, наши моря — озёра, наша пальма — сосна. Сосна — корабельная мачта с натянутым парусом неба, стоящая среди России, как в палубе корабля”.

— Ну, Надя! — я потрясён. И тут же ляпаю: — Может, я поэтом должен был стать, да вот жизнь задавила.

Жена отворачивается к компьютеру:

— Не жизнь, а жена тебя задавила. Женился бы на Эле.

Это она всегда так.

— Да ты что! С утра пришёл бы на кухню, а там Эля в халате.

— Ну и что?

— Но ты-то ни разу в жизни халат не носила. Ты у меня не халатная.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ СЛУЖБЫ нынче посещал усерднее, чем в прошлые годы, но всё равно не все. Все незабываемы. В четверг причащался. Вечером — Двенадцать Евангелий. Особенно вчерашняя служба впечатлила — Чин погребения. И — вот она Вера православная — долгие часы стояния, а переносил, слава Богу, терпимо. Дай Бог и сегодня отстоять Пасхальную.

В СОТОВОМ ПАСХАЛЬНЫЕ эсэмэски: “Ты яичко золотое на ладошку положи, и на ушко тихо Богу жизнь свою всю Расскажи. Он поймёт и не осудит, и подскажет наперёд: где соломинки подбросит, где на ушко что шепнёт. Лучик солнца плёт с небес. Радуйся: Христос Воскрес!”

В ЭТУ ПАСХУ ХРИСТОВУ мысленно причащался за родных, уже умерших, при жизни лишённых Причастия. Ведь в этом они не виноваты.

Вообще, страшно: огромные десятилетия миллионы людей шли по жизни без церкви и покаяния. Без Причастия. Страшно.

Каждый день Крестный ход.

Дьякон:

— Рцем вси-и!

Батюшка:

— Христос Воскресе!

Мы:

— Воистину Воскресе!

И радуга капель летит к нам от большого старинного кропила.

Нести фонарь, Крест, хоругви, иконы, когда облачён в нарядный пасхальный стихарь, совсем другое дело, нежели идти в обычной одежде. Видите ли меня, дедушки Яков и Семён, и Платон и бабушки Александры, бабушка Дарья? А ты, брат Борис? И Николай и Варвара, родители? Спросите по одним вам известным средствам связи детей моих и внуков: “Что ж вы не идёте рядом с отцом, с дедушкой?”

Сам я виноват, нетерпелив, зануден. Всё будет в своё время. Уж хотя бы не при жизни, хотя бы оттуда увидеть наследников, несущих хоругви.

— ГВОЗДЬ-ТО КАКОЙ аппетитный, — говорит Володя, указывая на старую доску, — а ты босиком. — Продолжает рассказывать: — Да, так и живу. Одной дочери дай десятку, другой — пятёрку.

— Конечно, тысяч?

— То-то и оно-то. Тут сын: “Пап, ты не подбросишь на бензин?” Ты ж на такси, говорю, и на бензин не имеешь? То есть, что я получал раньше зарплату, что теперь пенсия, всё равно то на то и выходит. Раньше пил, курил и ещё какие-то деньги были. Сейчас не пью, не курю, и денег нет. А они уже и это в свою пользу: пап, ты молодец, ты не куришь, сигареты же дорогие, деньги лучше на внуков давать.

Но Володя, я знаю, любит своих детей и внуков, любит действительно. То есть и коз, и куриц держит для них. Немного яиц и молока продаёт. Но очень мало: всё съедают свои.

— Роман приходит, он меня подстригает, мне вроде дешевле, вроде как бесплатно, а получается дороже. Как? Ну, я же не кто-то, чтоб не отблагодарить. А сейчас, когда не пью, он приходит не перестал. Я ему ставлю бутылку, ему дико одному пить, и с собой не берёт. Очень удивляется: “Ты, говорит, один живёшь и не спился”. Но подстригает.

ОПИСАТЬ ЗАКАТ — дерзость великая, особенно не после даже писателей, а после художников. Да теперь уже и после фотографов. Сегодня закат, вдобавок ко своему прощальному сиянию, ещё и красновато-тревожный (вчера был напряжённо-малиновый, будто изливался из мрачно-багровых туч), солнце приземлялось в облака, которые силились приглушить его. На другой стороне тень колокольни прямо-таки неслась слева направо по просторному, который год не засевавшемуся полю.

Описать, как одинокая корова идёт по нему и как она тоскует, что столько травы, а некому пасть вместе с ней, а ей одной так много этого раздолья.

Яркая зелень молоденьких сосенок — самосева. И уже, говорит сосед, появляются в них рыжики.

Смотреть на финал заката, как ни красив он, не хочется. Тем более сегодня новолуние. Лучше уйти в дом и лечь, не раздеваясь, поверх одеяла. И постараться ни о чём не думать.

Но лучше и не стараться.

“Чёрный человек” Есенина — алкогольная галлюцинация. Ибо он у него был не снаружи, а внутри. Не “что ты, ночь, наковкала”, а вся жизнь.

Гоголь сломался на поиске идеала. Где его взять: един Бог без греха.

“Лень больше грех, чем гордость”? Надо же, а я ленивый.

Общество ещё может признать свою вину перед человеком, государство никогда. А ведь то, что природная одарённость человека не раскрывается,

потому что он только и думает, как бы заработать, — это прямая вина государства. И вообще оно безжалостно. Выпило оно у тебя все жизненные силы и выпинавает. А ведь могло бы благоденствовать, будь поумнее.

А ВОТ ЗА ЧТО вятским так не везёт? Взять хотя бы эту болевую точку — флаг над рейхстагом. Ведь доказано уже, что первым водрузил флаг именно вятский солдат Григорий с прекрасной фамилией Булатов. А какое у него красивое лицо! Именно лицо молодой победы. А числится, всем известны, знаменосцы Егоров и, из угоды вождю, грузин Кантария. Несомненно прекрасные воины, и слава Богу, что прославлены. Ну, а Григорий Булатов? Очень много я прочёл о нём, много слышал. Ещё в 70-е, когда он был жив. Ему лично маршал Жуков обещал помощь, и даже была встреча со Сталиным, но всё кончилось тем, что Сталин умер, а Жукова Никита задвинул в Свердловск, потом в Одессу.

А Булатову какво? Не над курятником флаг. Стал попивать. Смеяться над ним стали, прозвали — Гришка-рейхстаг. А потом, потом, я уверен, его, как и Есенина, всунули в петлю. Пустили слух: сам, по пьянке, полез. Мешал пропаганде. Скорее, легенде.

А недоступный Эверест по недоступной стенке прошёл вятский альпинист Шабалин.

А ВЯТСКИЕ В ПРЯМОМ смысле (и сибиряки) спасли Москву. Северозападный фронт — самое кровопролитное место войны. Тут они и были. Мы с Гребневым были около Ржева в Полунино. В одной могиле, где его отец, больше десяти тысяч павших. Только в одной. А их там сотни. Не зря же у Твардовского именно сказано “Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте”.

СОБОРНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТСЯ из общинности (социальное), из артельности (труд), из прихода (духовность).

СЕМИНАРИСТ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ в карманы своей рубашки помещает два образочка Божией Матери. Ликом к себе — образ “Прибавление ума”, ликом к преподавателю — “Умягчение злых сердец”.

ЛЮДИ ОБЫЧНО мыслят фактами, понятиями, философы — категориями, православные — Заповедями. Вот бы соединить.

СПАСИТЕЛЬ ВОСКРЕС, ВОЗНЁССЯ, теперь дело за нами.

В ДУШЕГУБКЕ, в газовой камере все умерли. Только сидят четверо, в карты играют. Полицейские потрясены: как это так?

— Так мы же кирово-чепецкие.

ИСЦЕЛЕНИЙ В ГОРОХОВСКОМ источнике было страшенное количество. Одна женщина была — невралгия сильнейшая. Выкупалась — прошло. — Надо записывать. — А чего записывать? Кто верит, тому чего говорить?

РАСПЛАЧИВАЮСЬ В СЕЛЬСКОМ магазине. Мелочь из кармана просыпалась. Продавщица: “О, сколько денег насеяли. — У вас хотят остаться. — Конечно, мало купили”.

СОБРАНИЕ. ГОЛОСУЮТ:

- Кто “за”?
- “За” президиум и ещё первый ряд.
- Кто “против”?
- Несколько из последних рядов.
- Кто “воздержался”?
- Тоже несколько.
- А кому всё по фигу?
- Все остальные.

ГАИШНИК ВИДИТ: мужик пәсәт козу на асфальте.

— Ты что, она же у тебя сдохнет!

— Ты же не сдох. А тоже на асфальте.

Потрясающе у Фета: “Когда дыханье множит муки, и было б сладко не дышать”. У него же: “Как беден наш язык: хочю и не могу”.

И особенно это: “Где слышишь не песню, а душу певца, где дух покидает ненужное тело, где внемлешь, что радость не знает предела, где веришь, что счастью не будет конца”.

Это подходило к выступлениям иеромонаха Фотия. Ездил с ним и в Ташкент, и в Краснодар.

Душа наша, по Платону, родилась в царстве вечных форм, образцов существующего, и на земле ищет их подобия. Только мудрые видят в бегущем блески вечности. (“И песен небес заменить не могли ей скучные песни земли”).

Последняя поездка с Распутиным на его родину. Тесно в микроавтобусе. Ехали больше двенадцати часов. Уже снег. Крестовоздвиженье. Знакомый паром. Выступали. Валя выступал, сбился. На обеде: “Всё, отъездился, был последний раз”. Вернулись в третьем часу ночи, в шесть вставать на самолёт.

До того искали могилы Маруси и Светы. Он очень переживал, что не помнит. Нашли. Внизу трасса. Шумно.

Горечь оттого, что ничем не помочь. Только молитва.

— Да, у тебя было трудное детство.

— У меня его (плачет) вообще не было.

ОТЦА НАШЕГО, тятю, расстреливали. Только не помню, кто: красные или белые. “Давай лошадей! — Я же отдал одну, а у меня только две. А семья как будет? — К стенке!” — офицер кричит. Потасили. Тут мама нас всех вытолкала во двор, пошвыряла к ногам отца, кричит офицеру: “Всех стреляй!” Ну, он всё-таки опомнился.

— И ты это помнишь?

— Смутно. Старшие рассказывали.

УМНАЯ ЖЕНА постоянно держит мужа в виноватых. Виноват во всём и виноват только он. Не то сказал, не туда пошёл, не с тем встретился, не так оделся. Не то вспомнил. Не то подумал. Не так на неё поглядел... То есть кругом виноват. Не прав ни в чём. Если он умудряется доказать, что хоть в чём-то прав, хоть в чём-то не виноват, жена тут же заболевает. И в этом, конечно, виноват опять же он.

Интересно, что при этом он считается главой семейства.

— БЫЛ ВЕЛИКИЙ поэт Ермил Костров. Не зря же именно с ним, а не с графом Хвостовым Суворов дружил.

“Да здравствует Екатерина, торжество и радостей причина! ...Слеза вдовиц, сирот вздыханье, гонимых вопль, несчастных стон, в суде обидимых стенанье, возвысятя. Предвечный трон за них Творцу и всей природе, законам, разуму, свободе обязан тот воздать ответ, кому и суд, и силу властну ко благу всех, ко благу частну вручил Божественный совет...”

Три четверти века, легко ли! Но если нормально, то и не тяжело. Тут главное — молиться, чтоб никому в тягость не быть. Да ещё вытерпеть нападки на Россию, коих впереди великое множество...